

**Валентин  
РАСПУТИН**

---





# Валентин РАСПУТИН

---



**СОБРАНИЕ**  
повестей и рассказов  
**В ОДНОМ ТОМЕ**



2018  
МОСКВА

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Р24

Оформление серии *Н. А. Ярусовой*

Фотография на корешке:  
© Петр Петрович Малиновский / РИА Новости.

Составление раздела «Рассказы» *О. В. Лосевой*

### **Распутин, Валентин Григорьевич.**

Р24 Собрание повестей и рассказов в одном томе / Валентин Распутин. — Москва : Эксмо, 2017. — 960 с. — (Полное собрание сочинений).

ISBN 978-5-699-95064-5

Валентин Григорьевич Распутин (1937—2015) признан классиком при жизни, его имя известно всему миру, его книги переведены на десятки иностранных языков. Трагизм и горькая правда его произведений, искренность сразу покорила сердца читателей. В книгу включены практически все рассказы писателя, многие из которых не переиздавали с 70-х годов, а также лучшие знаковые для творческого пути В. Распутина повести.

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-95064-5

© Распутин В.Г., наследники, 2018  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

# Рассказы



Рассказы расположены в хронологическом порядке. В тех случаях, когда авторская датировка неизвестна, ее заменяет дата первой публикации, которая помещается в угловые скобки. Из нескольких редакций воспроизводится последняя с указанием на раннюю (или ранние).

## Я ЗАБЫЛ СПРОСИТЬ У ЛЕШКИ...<sup>1</sup>

**М**ы вошли в город уже утром. Он стоял спокойный и выспавшийся, но мы уже ничего не замечали, ничего не слышали и не чувствовали. Мы шли посреди дороги, нас обгоняли машины, не сигналив, не требуя посторониться, на нас оборачивались люди и, остановившись, провожали нас долгими, внимательными взглядами, какие появляются у человека только при встрече с несчастьем. Носилки уже не казались тяжелыми, спать не хотелось, усталости не было — было лишь липкое и тяжелое равнодушие, которое подчинило себе все наши мысли и чувства. Если бы Андрей упал сейчас на дорогу и закричал или стал биться головой о камни, я бы нисколько не удивился и с тупым безучастием стал бы ждать, чем все это кончится.

Мы не знали, где в городе больница, но мы и не спрашивали о ней. В таких случаях больница сама должна выйти навстречу человеку. Мы не торопились. Было поздно торопиться, и у нас не было сил — все убила дорога, длинная и холодная, и то, что случилось в дороге.

Еще год назад мне нередко снились сны, страшные, как несчастье. Когда я просыпался и находил себя целым и невредимым, я вытягивал перед собой руки и начинал сжимать и разжимать кулаки, словно проверял таким образом, действительно ли со мной ничего не случилось. Быть может, и это тоже сон, слишком затянувшийся только потому, что я никогда еще так не уставал? «Если это сон, — решил я, — я ни за что не смогу вспомнить то, что произошло за последние сутки».

Нет, я все это помню. Утром, к восьми часам, мы подошли к тому месту, где обрывалась дорога, которую мы вели, но никого еще не было, и мы уселись на поваленное дерево и стали ждать.

- Кому ты вчера писал письмо, Лешка? — спросил Андрей.
- Матери.
- А Ленке?

---

<sup>1</sup> В ранней редакции рассказ носил название «Я забыл спросить у Лешки» (Ангара. 1961. № 1. С. 84–88).

— Она еще не ответила.

Лешка замолчал, а я подумал, что Андрей мог бы ни о чем и не спрашивать, раз Лешка сам пока ничего не знает.

Это случилось примерно через час после того, как мы начали работу. Я стоял в стороне и все видел. Сосна была очень высокая: все время, пока пила вгрызалась в ее тело, она дрожала мелкой, боязливой дрожью, потом смирилась, успокоилась, слегка поклонилась своей зеленой остроконечной шапкой в ту сторону, куда ее хотели повалить, и вдруг, будто спущенная пружина, рванулась обратно, туда, где Лешка вырубал кустарник. Я слышал, как кто-то из пильщиков крикнул коротким и сильным, как удар боксера, криком. Земля глухо ойкнула и сразу же замерла, будто приготовившись к новому удару. Лешки не было. Я прыгнул и еще в прыжке увидел, как он вскочил с земли, но к нему со всех сторон уже бежали люди.

Лешка стоял перед нами, глупо улыбаясь, смущенный тем, что из-за него все побросали работу.

— Пустяки, — забормотал он, виновато краснея, — веткой задело. Пустяки. Вы не беспокойтесь. Я не знаю, почему упал, наверное, от страха. А так не больно.

И все сразу заулыбались и заговорили, все, кроме мастера, который выругался сочным, как луковица, ругательством и пригрозил вместо обеда накормить нас правилами по технике безопасности.

Через десять минут мы все разошлись по своим местам, а еще через полчаса ко мне подошел Андрей и сказал, что с Лешкой что-то неладно. Лешка сидел на той самой сосне, которая сбила его с ног, и, задрав рубашку, смотрел, как синий круг медленно, словно чернильное пятно, расплзается по животу.

— Что, Лешка? — спросил я.

— Ничего, ребята, ничего, — Лешка торопливо опустил рубашку. — Ноет немножко, но до обеда пройдет. Честное слово, я знаю, у меня всегда так. Это не опасно, вы идите, а я посижу чуть-чуть и буду помогать вам. Идите, ребята, идите.

Мы пошли к мастеру. Тот поднял на лоб свои медвежьи брови и плотно придавил одну к другой губы. Он молчал минуты две, потом сказал, что до больницы почти пятьдесят километров, а трактор все равно должен работать, если бы даже свалилась половина бригады.

Андрей рассердился.

— Мы все трое из одной школы, — сказал он как бы некстати, но мастер понял его и, кажется, даже обрадовался тому, что выход найден.

— Вот вы и пойдете. Возьмите с собой плащпалатку и топор.

Мы уходили, когда солнце забралось уже высоко и горело вовсю. Лешка долго не хотел ничего и слышать о больнице, пока Андрей не прикрикнул на него и не сказал, что здесь с ним придется возиться всей



бригаде, а работа будет стоять. Этого Лешка не мог перенести, он всегда боялся быть для кого-нибудь помехой или обузой. Но ему как будто и в самом деле стало лучше, и он без видимого труда шел рядом с нами.

На тридцать километров растянулась эта дорога. Два с половиной месяца тащили мы ее, с трудом поднимая в горы и так же с трудом спуская вниз, в сырость мхов и кочек. Теперь тридцать километров нам предстояло пройти сразу, единым махом, чтобы выбраться на другую, ровную и твердую дорогу, по которой до больницы было еще около двадцати километров.

Сначала мы шли молча. Лешка, наверное, думал о Ленке или злился на себя за то, что пришлось бросить работу, а Андрей... я не знал, о чем думал Андрей: он всегда был не слишком понятен нам, хотя мы и считались друзьями. Он любил то, что не любили другие, и он думал и говорил о том, о чем, казалось, никак нельзя было в эту минуту думать или говорить. Мы знали, что это идет у него вовсе не от желания казаться оригинальным и непохожим на других, а от того, что он такой и есть. И на этот раз он тоже вспугнул наше молчание фразой, которую мы с Лешкой совсем не ждали.

— Будем считать, что коммунизму не повезло, — неожиданно сказал он. — Сегодня один из его строителей потерпел аварию. М-да. — Он засмеялся и повернул к нам свое лицо с прищуренными глазами. Я видел, что это только приманка, чтобы подвести нас к старому, еще школьному спору, который мы не трогали с тех пор, как приехали сюда, но Лешка, видимо, этого не понял.

— Пустяки, — виновато сказал он, употребив свое любимое словечко, которое у него всегда звучало, как «простите», — один человек ничего не значит.

— Как не значит?! — обрадовался Андрей. — Граждане! Немедленно вводите поправки в свои вычисления. Коммунизм запаздывает. Сбавил скорость, уважаемые граждане. Сегодня на голову одного из его лучших строителей свалилось дерево. Здоровье пострадавшего пока вне опасности, но бесплатная выдача продуктов и товаров широкого потребления из магазина задержится.

— Ну, что ты говоришь? — Лешка сморщился не то от раздражения, не то от боли. — Коммунизм, коммунизм... нашли себе носовой платок. И ты туда же. Я бы на месте правительства специальное постановление принял: не веришь — не смей трепать это слово, не для тебя оно.

— И ты тоже надеешься дожить до него, до этого коммунизма?

— И я надеюсь. А почему бы и нет?

— Ребенок ты. Как ты понять не можешь, что все это далеко-далеко, вот как солнце в пасмурную погоду — где-то есть, а не видно, не светит и не греет. Это тебе не поездом из Кубани в Сибирь приехать.

— Я знаю. Только ты-то зачем сюда ехал, если не веришь в это? Оставался бы себе дома, поступал в институт...

— Видишь ли, мы с тобой говорим на разных языках. Для тебя дорога, которую мы ведем, — это дорога в коммунизм, никак не ближе, а для меня она то, через что надо пройти, чтобы стать человеком. Я хочу быть сильным, крепким человеком. На Северный полюс меня не возьмут, вот я и приехал сюда, где есть звери, где тебе на голову может свалиться лесина, где люди живут в палатках, кормят комаров и всякую таежную гадость.

Если я пройду через это и выдержу, а потом еще пройду через двери такие же дороги, я смогу уважать себя и идти куда угодно. Понятно тебе?

Лешка не успел ответить. Он вдруг сразу, в одно мгновение, задохнулся чем-то страшным и вытянул вниз подбородок, чтобы не закричать. Это было то же самое, как если бы человеку вонзили нож в спину в ту минуту, когда он мечтал о чем-то хорошем. Лицо у человека еще улыбается, а сам он уже скорчился от боли. Я подхватил Лешку и осторожно опустил его на землю. Он вытянулся во всю длину и стал судорожно, обеими руками разглаживать свой живот, быстроводя по нему ладонями взад и вперед. Я сбросил его руки на землю и поднял рубашку. Среди океана синевы только кое-где виднелись островки белой кожи, да и то они заметно темнели, будто подмытые снизу водой.

— Горит! — выдохнул наконец Лешка, быстро, одним словом. Он немного помолчал и добавил с выражением чтеца, почти восхищенно, но сквозь зубы: — Ух, до чего здорово гори-и-ит!

Андрей молчал. Он, как и я, тоже испугался, и мы понимали, что теперь нам будет не до споров о коммунизме, что у Лешки что-то страшное, а что — мы не знали. Мы только видели синеву на его животе, мы только понимали, что ему как можно скорее нужен врач.

Через полчаса мы пошли дальше. Андрей шел впереди, я сзади. Лешку мы несли на носилках, сделанных из плащпалатки и двух палок. Он тяжело дышал, вздрагивая всем телом. Одна нога у него была заброшена за палку, а другая настойчиво пыталась достать землю, но это ей никак не удавалось, и она маятником качалась в воздухе.

Мы не были виноваты в том, что с Лешкой случилось несчастье, но мы ничем не могли ему помочь, и это нас больше всего удручало. Мы видели: ему плохо, очень плохо. Мы знали: это страшно, это игра в прятки со смертью, когда ищет смерть и нет ни одного надежного места, куда можно было бы спрятаться. Вернее, такое место есть — это больница, но до нее далеко, еще очень далеко.

Мы все шли и шли. Мы уже давно устали, но страх заставил нас забыть об усталости и гнал вперед. Я видел только, как качается Лешкина нога, я видел перед собой спину Андрея и деревья, высовывающиеся

из-за нее, видел, как катится под меня дорога, — больше для меня ничего не существовало.

— Я в самом деле, ребята, не смог бы больше идти, — неожиданно сказал Лешка слабым, будто подпленным голосом, и я увидел его открытые глаза, которыми он пытался улыбнуться.

— Молчи! — потребовал Андрей.

— Нет, давайте лучше говорить, — попросил Лешка. — Ты говори, Андрей, и ты, Витька, тоже говори. О чем угодно, но говорите, пожалуйста. Так легче. Ну, давайте дальше о коммунизме. Ты не прав, Андрей, честное слово, не прав. Это не так далеко, как ты думаешь. Это ближе. И ты веришь в это, я же знаю, что веришь. А наговариваешь на себя. Ну, скажи, веришь или нет?

— Верю, — нехотя согласился Андрей. — Но все равно — это очень далеко. Глупо было бы совсем не верить. Это как дерево, пока еще маленькое, но оно обязательно вырастет в громадину. Только за ним нужен особый уход... А у нас сколько угодно людей, которым на все это наплевать.

— Но ведь их мало, — возразил я.

— Не так уж и мало. В том-то и дело, что немало. Взять хотя бы нашего мастера. От него, если говорить откровенно, пользы для этой дороги в десять раз больше, чем от тебя, от меня и от Лешки, вместе взятых. Он специалист, а мы, мальчишки, сразу после школы. Но не дал этот мастер трактор сегодня, чтобы увезти Лешку. У него план, он для коммунизма работает, а человек хоть подыхай. Вот так. А то, что он этим самым свинью коммунизму подложил, он ни за что не поймет.

— Ребята, положите меня, — попросил вдруг Лешка, оттягивая вниз подбородок.

И снова мы стояли и смотрели, как он водит по животу руками, будто растирает мазь. Лешкино лицо от боли покрывалось потом, но он не кричал, не метался, а только часто дышал, отчего тряслось все его тело.

Когда схватки боли кончились, мы опять взялись за носилки, только теперь впереди шел я.

— Говорите, ребята, говорите, — долетает до меня шепот Лешки, и я слышу за спиной его учащенное дыхание. — Говори, Андрей, ты хорошо говорил. Только не надо так зло. Ты говорил со злостью. Не надо злиться. Ну, Андрей.

Андрей молчит. Я понимаю его. Трудно в такую минуту говорить, особенно когда просит он — не я, а он, — гораздо легче закричать на весь лес и сломя голову бежать и бежать, пока не выбьешься из сил и не упадешь.

— Андрей! — зовет Лешка.

Андрей молчит.

Тогда начинаю говорить я. Я путаюсь и говорю первое, что мне приходит в голову. Но мне легче: я не вижу ни Андрея, ни Лешки. Мне в тысячу раз легче, чем Андрею, потому что я не вижу Лешки. Я иду вперед.

— Коммунизм, — говорю я. — Конечно, будет коммунизм. — Я даже пытаюсь говорить спокойно, чтобы поддержать себя. Ясно, будет. Только мне вот что непонятно. Вот когда ставят новый завод, на его здании записывают имена лучших строителей. Электростанцию — то же самое. А как быть, когда люди построят коммунизм? Ведь это только так в газетах пишут — светлое здание коммунизма, а здания-то никакого не будет. Куда люди будут вписывать имена лучших строителей коммунизма? Как ты думаешь, Лешка?

— Чудак, — шепчет он, и я невольно укорачиваю шаг, чтобы услышать его. — Все тут очень просто. Ведь строители заводов и электростанций — это и есть строители коммунизма. Зачем им еще ставить памятники и записывать их имена на какую-то другую стену? О них книги напишут.

Я молчу. Я все это прекрасно знаю, и мне совсем не хочется сейчас мечтать и говорить о коммунизме. Мне просто нужно было слышать Лешку, чтобы узнать по его голосу, как он себя чувствует.

— Ребята!

Мы опускаем носилки. И опять все то же, но с каждым разом этот вынужденный отдых становится все длинней и длинней. Потом снова идем. Андрей впереди, я позади.

— Не молчите, ребята, не молчите. Я прошу вас. Мне надо слушать вас. Больно, понимаете, больно. Горит.

Теперь мы знаем, о чем нужно говорить, и мы будем говорить теперь только об этом. И мы говорим. О том, что зря люди стыдятся мечтать о коммунизме, о том, что надо бить всякого, кто хихикает: «Герпи — при коммунизме все будет бесплатно».

— Ребята!

Солнце не выдержало и ушло. Не в силах помочь нам, оно упало за лес. День, свернувшись шариком, укатился. Ему было жаль нас, но его время кончилось. Наступила темнота. Деревья, тесно прижавшись в страхе друг к другу, молчали. Небо, как халат фокусника, горело звездами. Небо было чистое, звездам нечем было закрыться от нас, и они, вынужденные без конца смотреть на то, как мучается Лешка, испуганно дрожали.

Лешка метался по носилкам, бредил.

— Хватит! — кричал он. — Хватит! Отодвиньте костер. Палатка горит, отодвиньте костер. Жарко! Идиоты! Э-э-эх!

Его руки ползали по животу, а ноги, свесившись, загребали воздух. Я шел опять позади, и мне было труднее, чем Андрею.

Потом Лешка умолк, но через несколько минут заговорил снова, и его голос теперь звучал спокойно и ласково.

— Это ничего, — говорил он. — Это пустяки. Ты напиши. Я жду и жду. Тише. Я хочу поговорить с ней. Тише, я вас прошу. Я не видел, что оно падает. Неужели ты в самом деле не слышишь? Слышишь? Странно. Я говорю, а ты не слышишь. Я тоже не слышал. Если бы я слышал... Я не слышал. Слышишь? Вот теперь слышишь, да?

И Лешка улыбнулся.

А мы шли и шли, разрывая ночь. Мы запутались в ней. Мы устали. Мы молчали. Но Лешка не молчал. Никогда еще он не говорил так много. Он то кричал, когда боль хватала его за горло, то переходил на шепот, когда она отпускала. Он разговаривал и с матерью, и с Ленкой, и с нами.

Когда он разговаривал с нами, мы все равно молчали. Хотелось ответить ему, но мы знали, что он не услышит. И мы шли молча.

Потом показалась река, и мы свернули на твердую дорогу. Осталось около двадцати километров. Лешка молчал. Мы даже не заметили, как стих его шепот. Мы думали, что ему стало легче. Дорога рвалась то в одну, то в другую сторону, но мы находили ее и старались придавить к земле ногами. Я устал. Я здорово устал. «Неужели ты не сделаешь еще один шаг, — думал я, — всего один шаг?» И я выбрасывал вперед одну ногу, потом другую. Правую и левую. Одну и вторую.

Лешка молчал.

И вдруг нам стало страшно. Мы остановились и положили носилки на землю. Андрей взял Лешку за руку. Он держал ее и смотрел на меня. Лешка не двигался. Я не поверил. «Не может быть! — кувыркнулась в мозгу мысль. — Он просто спит». Я медленно опустился перед Лешкой и взял его за руку. Она была послушной и мягкой и уже не пульсировала.

Мы поднялись одновременно. Мы не кричали и не плакали. Мы стояли караулом с обеих сторон возле Лешки и молчали. Я смотрел в ту сторону, где спал город, и я думал о том, что сегодня нам придется отправить Лешкиной матери телеграмму; которая сразу, одним ударом, собьет ее с ног, а через несколько дней придет письмо от Лешки. И она много раз будет приниматься за него, прежде чем дочитает до конца.

Я помню все, помню до боли ярко и точно все мелкие линии подробностей, но я не помню сейчас, кто из нас первый лег рядом с Лешкой. Мы устали. Мы лежали на земле, сдавив его между собой, крепко-накрепко.

Рядом всхлипывала река. Луна, вытаращив свой единственный глаз, не отводила от нас взгляда. Слезливо мигали звезды. А мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, трое друзей, приехавших в Сибирь строить коммунизм.

Потом стало холодно, и я растолкал Андрея. Мы бережно, не говоря ни слова, подняли носилки и пошли. Впереди Андрей, позади я. Светало. Я неожиданно вспомнил о том, что еще забыл спросить Лешку, будут ли знать при коммунизме о тех, чьи имена не вписаны на зданиях заводов и электростанций, кто так навсегда и остался незаметным. Мне во что бы то ни стало захотелось узнать, вспомнят ли при коммунизме о Лешке, который жил на свете немногим больше семнадцати лет и строил его всего два с половиной месяца.

<1961>

## ЧЕЛОВЕК С ЭТОГО СВЕТА

Лохмотья осеннего рваного ветра хлещут ее по лицу, и она уходит в юрту, поставленную рядом с домом. Она разжигает там костер и часами молча сидит перед ним.

Накипи белого зимнего ветра пенятся вокруг нее, а ей мерещится хриплое дыхание собак и замершие, прищуренные глаза, ищущие мушку.

Волны весеннего обмелевшего ветра плещутся возле нее, но она отворачивается от них, чтобы брызги с дальних гор не попали ей в лицо.

Шорохи летних вечерних ветров кружат возле нее, но она плохо слышит их голоса и молчит, перебирая глазами неровные ряды хребтов, уходящих вверх по Кара-Бурени в далекую Туву.

Ветры, ветры, ветры... Но это не ее ветры. Она уже отдышала своими, отходила по ним, и то, что им суждено было с ней сделать, они сделали добросовестно. Теперь другие люди разжигают в тайге костры и прокладывают тропы по снегу и камням, и это за ними гоняются ветры, раскручиваясь, как пружины. Там, где нет человека, нет и ветров — они рождаются из нашего дыхания, когда мы поднимаемся в гору и нашим легким не хватает воздуха. Поэтому она не верит ветрам, дующим ей в лицо, — они летят к другим, а на нее наталкиваются случайно и тут же, спохватившись, бросаются дальше. Это чужие ветры, а все ее собственные, родившиеся на дальних и близких тропах, остались в ней самой и стучат, как второе сердце. Одного сердца на восемьдесят трудных таежных лет ей бы, пожалуй, не хватило.

В ее представлении год — это замкнутый круг, в котором левая нижняя часть занята зимой, а левая верхняя — весной. Дальше, как и следует по порядку, идут лето и осень. Вот так и кружатся годы над человеком с их ветрами, снегами, дождями, накладывая на него, как на дерево, с каждым кругом свое кольцо. Только у человека, как ей казалось, эти кольца не расширяются, а сужаются. Они становятся все меньше и меньше, пока не кончается нить, и тогда, как затянутая петля, в самом их центре получается только точка.